

© Н.П. Космарская

## ОТВЕТ ОППОНЕНТАМ

Подведение итогов дискуссии мне хотелось бы начать с выражения самой искренней признательности всем ее участникам, взявшим на себя нелегкий труд освоения книги, огромной по объему и насыщенной разнообразным материалом (эмпирическим, концептуальным, библиографическим), к тому же заостренно полемичной. Вызывает сожаление, что среди приславших свои отклики российские исследователи – в подавляющем меньшинстве (к тому же формат одного из двух таких текстов, на мой взгляд, вряд ли можно отнести собственно к дискуссии, но об этом – ниже). А ведь обсуждается, как хотелось бы думать, "наша", "родная" проблема... Такая слабая активность (приглашение было послано доброму десятку российских ученых), в сочетании с тем фактом, что за время после выхода книги не появилось ни одной развернутой рецензии на нее в отечественных научных журналах, написанной кем-то из собратьев по исследовательскому цеху (публицистика и журналистика не в счет), еще раз подтвердила давно сделанное мной нерадостное наблюдение: систематическое чтение работ коллег и оттого возможность постоянно "держат руку на пульсе" и обмениваться идеями еще не стали в России частью повседневного труда людей, называющих себя учеными. А ведь только так мы можем двигаться вперед...

Вместе с тем, не углубляясь в сетования по поводу того, чего нет, перейдем к тому, чем мы располагаем. Это набор интересных и очень разных откликов, каждый из которых несет на себе печать индивидуальности автора, отражая не только ее/его исследовательские интересы, но часто и политико-идеологические предпочтения, а также опыт проживания в том или ином обществе. Естественно, я не имею возможности, в рамках выделенного мне журнального пространства, ответить на все критические замечания и прокомментировать все идеи и творческие предложения. Остановлюсь поэтому на принципиально важных для меня проблемах, особо выделив те, которые затрагиваются не в одном, а в нескольких откликах.

Начнем с сюжетов, которые я бы объединила под рубрикой "**подводные камни категоризации и типологизации**". Бывает, что потребности и методы решения какой-либо научной задачи, при доведении их до логического конца, делают авторскую позицию уязвимой с точки зрения адекватности исследуемым реалиям. Именно так я бы интерпретировала замечание М. Ривз о том, что противопоставление в книге титульных групп и "русскоязычных", «служа цели развенчания реифицирующего "языка этноса", создает риск уже новой реификации (различий между "автохтонами" и "переселенцами")».

В данном случае мое стремление максимально дистанцироваться от этноцентричного взгляда на "соотечественников", предложив взамен значительно более инклюзивный термин "русскоязычные" (в смысле – "дети империи") и подчеркнув их специфику по отношению к титульным группам, породил у автора отклика определенное недопонимание. И виной тому, пожалуй, излишне "сильная" формулировка "по разную сторону баррикад" (с. 23). Если забыть о ней, никаких рисков "новой реификации" я не вижу, поскольку через всю книгу проходит мысль о том, что наблюдающиеся в киргизстанском обществе линии социокультурного, экономического и политического размежевания пролегают отнюдь не между "этнотами", а складывающиеся на основе подвижных низовых лояльностей социальные коалиции обычно включают в себя как киргизов, так "русскоязычных". Да и эмпирических данных в обоснование этого тезиса в книге приведено немало.

Аналогично, выдвижение в качестве одного из основных аналитических инструментов обобщенной категории "русскоязычные", в противовес "этническим русским",

предполагало особый акцент не на центробежных, а на центростремительных тенденциях внутри этой группы; на общности положения немцев, татар, украинцев, евреев и других "европейцев"<sup>25</sup>. Вот почему интервьюирование людей с "паспортной" национальностью иной, чем "русская/-ий", проходило по той же схеме, что и собственно русских, а тема их этнической "особости" всплывала лишь по инициативе самих респондентов, и происходило это далеко не всегда. Бывало и так, например, что лишь в конце длинного и вполне стандартного интервью "русского" выяснялось, что вся семья "подала документы в Германию", потому что "бабушка у нас – немка", а сама сидящая тут же бабушка, имеющая немецкие корни, со смехом замечала: "Вот, пришлось на старости лет немкой заделаться!"

Эти размышления служат ответом на замечание А.М. Хазанова, который пишет о моей недооценке различий между членами сообщества "русскоязычных", избирающих "разные пути адаптации или разные маршруты эмиграции", и о том, что по данной причине "концепция ситуационной идентичности далеко не всегда и не во всем убедительна". У такой недооценки были методологические и эмпирические основания; кроме того, изучение специфики адаптации отдельных групп внутри "русскоязычных" в мою задачу не входило, что не снимает значимости этой проблемы для будущих исследований. На мой взгляд, разброс в стратегиях выживания, языковом поведении и пр. нарастал постепенно и стал с очевидностью проявлять себя лишь в последние годы, причем даже не на примере немцев и евреев (многие из них действительно уже покинули регион), а в первую очередь – татар и корейцев.

В.В. Полещук пишет в своем отклике о "жестких рамках" предложенной мной "параллельной" модели интеграции русскоязычных (имеется в виду идея о "диаспорном" и "автохтонном" проектах). Он отмечает также, и вполне справедливо, что эти интеграционные стратегии, судя по наблюдениям в Эстонии, могут осуществляться не только разными группами русскоязычных, но также одними и теми же людьми.

Безусловно, любые попытки структурировать изучаемую реальность с помощью аналитических категорий, моделей, типологий и пр. неизбежно в чем-то ее обедняют и упрощают. Но в то же время, без упорядочения объекта в той или иной форме возникает опасность скатиться к созерцательности и описательности по принципу: "что вижу – о том пою". Поэтому приходится, увы, из двух зол выбирать меньшее. Предложенная мной схема явилась попыткой, во-первых, преодолеть ограничения "последовательной модели" П. Колсто об "укореняющихся диаспорах" (с. 553–557), а во-вторых, дистанцироваться от еще более "жесткого" подхода к русскоязычным как к "русской диаспоре". Надо было двигаться вперед и зафиксировать наличие интеграционного проекта, альтернативного "диаспорному", и показать, что он имеет потенциал развития как в лице части титульных элит, так и части русскоязычных, ориентированных в своих привязанностях, лояльностях, поведенческих стратегиях и пр. в большей степени на страну проживания, нежели на Россию. Именно в указанных целях и был сделан особый акцент на различиях между двумя группами русскоязычных, воплощающих собой существование двух "проектов" в чистом виде. Все это, конечно, не исключает ни промежуточных позиций, ни переходов из одной группы в другую<sup>26</sup>. При дальнейшем движении к еще более адекватному пониманию происходящего, именно эта вариативность, причем в страновом воплощении, и должна стать предметом нашего внимательного анализа. Не исключено, что специфика идентичности русскоязычных Эстонии будет определяться и теми обстоятельствами, о которых упоминает В.В. Полещук – их глубокой включенностью в культурную жизнь России и ее географической близостью.

Наконец, последний сюжет, вернее, набор сюжетов, связанных с "классификацией". Обращусь к отклику В.И. Мукомеля, который, во-первых, считает мое деление "цитируемых авторов" на "миграционистов" и "интеграционистов" "достаточно вольным"; а во-вторых, недоумевает по поводу "рвения, с которым ведется дискуссия" – все это вроде бы дела давно минувших дней.

Стремясь меня поправить, В.И. Мукомель пишет: "Споры тех лет – ... это споры о том, какие факторы следует принимать в расчет и насколько они значимы для перспектив репатриации/интеграции русскоязычного населения новых независимых государств". Так ведь и я о том же! И главным фактором, на мой взгляд, является этничность и все с ней связанное. Несмотря на разнообразие взглядов, которые присутствуют во взаимно подпитывающих друг друга публично-политическом и академическом дискурсе о "русских ближнего зарубежья", "диаспорах", "меньшинствах", "пришлых и коренных" и пр., его участники четко делятся на группы, по-разному интерпретирующие природу этничности и ее значимость для перспектив интеграции, репатриации, адаптации... кого? – далее подставить нужное. Споры о "соотечественниках" поутихли, но запал дискуссии переместился с "диаспор" России на "диаспоры" в России, не утратив этой своей особенности и отражая глубокую разобщенность профессиональных сообществ. Такая "концептуальная" преемственность, порожденная усложнением этноконфессиональной карты страны и резким ростом конфликтности вокруг иммигрантских групп, как мне кажется, делает мою классификацию достаточно обоснованной<sup>27</sup>, а представленную в книге полемику – актуальной и познавательной. Я благодарна М. Ривз, которая обратила специальное внимание на эту особенность моей работы.

Добавлю, что книга специально задумывалась как подведение итогов изучения "русских ближнего зарубежья" в России и на Западе в первое постсоветское десятилетие. Ставила цель не только сделать как можно более точный "снимок" драматических изменений "снизу", но и показать общественно-политическую атмосферу, в которой эти изменения оценивались, интерпретировались и регулировались. Такого рода социальный контекст во многом формировался и академическими дискуссиями "здесь" и "там". Кроме того, моя принципиальная позиция как ученого состоит в том, что любое научное исследование должно основываться на тщательном изучении работ предшественников, их упущений и творческих находок, иначе не будет достигнута главная цель науки – приращение существующего знания, и каждый новый входящий в проблему будет вынужден все начинать заново. Возможно, кому-то из читателей такого рода пожелания покажутся само собой разумеющимися. Однако мои впечатления от общения с научной молодежью и почти девятилетний опыт работы заместителем главного редактора научного журнала "Диаспоры" говорят о том, что традиции "передачи эстафеты знаний" в значительной степени утрачены (сужу по знакомой мне этносоциологической тематике).

Наконец, была еще одна важная причина, как может показаться, моей "зацикленности" на полемике – с цифрами, фактами и ссылками. На определенном этапе работы стало ясно, что мои эмпирические результаты и исследовательские подходы существенно расходятся с теми, что присутствуют в трудах других ученых, занятых той же проблематикой. Но если бы я лишь констатировала данный факт с помощью обтекаемых безличных формулировок типа "в отечественной науке... недооценивается" или "преобладающий подход к этничности состоит в...", то дала бы повод к упрекам в голословности.

**Вторая** проблема, которую я хотела бы затронуть в заключительном слове – **этноязыковая**, причем в более широком ракурсе, нежели позиции собственно русского языка в Киргизии. Именно этому сюжету уделила немало внимания в своем оклике М. Ривз, хорошо знающая ситуацию в стране и представившая нам свежие и весьма интересные наблюдения.

Сразу отмечу, что ключевой для главы о русском языке вопрос о "счастливом конце истории" в моем изложении вовсе не предполагает осторожного "да", как показалось английской исследовательнице. Глава, которая дописывалась перед самой сдачей книги в печать в ноябре 2005 г., заканчивается описанием бурных общественных и политических дебатов о статусе государственного языка и о мерах, которые могли бы

упрочить его позиции. Ситуация выглядела "подвешенной", причем в моем изложении – в основном из-за факторов политических. Эта "подвешенность", впрочем, не противоречит моей идее о том, что независимо от политических битв по поводу статуса языков – битв, во многом являющихся "внутрикиргизскими", реальная (а не только на бумаге) прочность позиций русского языка обеспечивается рядом важных обстоятельств, коренящихся в специфике колонизации страны и ее постсоветского развития.

М. Ривз ставит проблему шире и в несколько иной плоскости, высказывая опасения по поводу "ослабления позиций полноценного, функционального билингвизма" и все более явной «лингвистической "бифуркации" киргизстанского общества». Многие из названных ею явлений далеко не новы. Разве не был киргизский язык и раньше, в условиях почти нулевого владения им "европейцами", явным этническим маркером? И вряд ли в условиях постоянного стремления государства повысить именно символическую значимость киргизского языка можно ожидать быстрого преодоления этого наследия эпохи "национального возрождения". Даже в Эстонии, например, где уровень владения "русскими" эстонским языком, по свидетельству В.В. Полещюка, "вырос в разы", этномаркирующая роль языков сохраняется, хотя, возможно, не в явном виде. Вспомним о том, как во время беспорядков в Таллине весной 2007 г., последовавших за переносом "Бронзового солдата", именно по языку (или акценту) полиция при желании отделяла эстонцев от неэстонцев.

Об отсутствии "ориентированных на практику" пособий и учебников на киргизском языке для средней и высшей школы говорится все постсоветские годы, как и о формальном, "казенном" подходе к его преподаванию школьникам и студентам-киргизам. Тут хотелось бы сделать одно отступление – возможно, создатели учебников киргизского языка для "русских" (в частности, того, который я похвалила, а М. Ривз критикует<sup>28</sup>) ориентировались не столько на этнолингвистическое самоутверждение, сколько на крайне идеологизированные методики советского времени. Занимаясь много лет изучением, а потом и преподаванием иностранных языков, в частности, английского, я помню много учебников "советского разлива": содержащиеся в них искусственные фразы и неизменные *topics* (о том, как отец и сын собираются в кинотеатр смотреть фильм "Ленин в октябре", а пионеры обсуждают поездку в колхоз) буквально застревают в гортани.

Наконец, разве было когда-либо легким "завоевание города" сельской молодежью – любимым сюжет антропологов, а также писателей и кинематографистов? За последние 20 лет Киргизия пережила как минимум две крупные миграционные волны, принесшие в города, в основном в столицу, ищущих лучшей жизни молодых сельчан<sup>29</sup>. Эти движения уже практически стали историей; Бишкеку удалось "переварить" и в значительной мере адаптировать эту массу мигрантов, но ценой социальных потрясений и немалых материальных затрат<sup>30</sup>. Особо подчеркну, что хотя в тот период русский преподавался по всей стране гораздо активнее и не как "иностраный", уровень языковой компетенции многих мигрантов, их подготовленность к жизни именно в "европейском" городе оставляли желать много лучшего. Я помню, как в 1996 г. объезжала вместе с коллегой, изучавшей движение "Ашар", районы бишкекских "самозастроек", и нам пришлось взять с собой переводчика, поскольку мало кто из обитателей тогдашних лачуг мог нормально объясниться по-русски. Да и современные многочисленные трудовые мигранты, направляющиеся из стран Центральной Азии в Россию – все ли они хорошо владеют русским? Конечно, первыми уезжают наиболее конкурентоспособные (подобно учителям-русистам из сельских районов Киргизии, о которых упомянула в этой связи М. Ривз), но потом в процесс миграции, при тех масштабах, которые она приняла в последние годы, вовлекаются все новые прослойки сельских жителей. Приведу недавнее наблюдение Е.В. Абдуллаева. В самолете национальной авиакомпании, которым он летел в Москву, в большом количестве находились люди, явно выглядевшие трудовыми мигрантами, но поговорить с ними можно было только

по-узбекски. На вопрос, как же они собираются жить и работать в иноязычной стране, они отвечали, что это не проблема, русский знают их уже находящиеся в России знакомые или родственники. В "омут" новой городской жизни, будь-то Москва, Бишкек или Ташкент, бросаются и без необходимых культурно-языковых навыков, овладевая ими постепенно – кто более, кто менее успешно.

В свете только что сказанного я бы не стала связывать отсутствие у молодых людей шансов вырваться из "медвежьих уголков" сельской Киргизии лишь с их монолингвизмом. Тут действует множество обстоятельств – от материальных возможностей семьи и включенности ее в родственно-клановые сети поддержки в пунктах выталкивания и притяжения до возрастных, гендерных, образовательных и иных характеристик собственно участников миграционных процессов.

Действительно новый фактор из тех, которыми М. Ривз объясняет "лингвистическую бифуркацию" киргизстанского общества и появление армии моноязычных молодых людей, "глубоко изолированных от городской жизни" – резкое снижение уровня владения русским языком среди новых поколений сельской молодежи, вызванное острой нехваткой учителей-русистов из-за их вынужденной экономической миграции. Конечно, можно предположить, что все "старые" факторы (при которых билингвизм хотя и был односторонним, но достаточно устойчивым и самовоспроизводящимся), объединившись с "новым", в последние годы привели к неблагоприятным изменениям качества этого билингвизма. Правда, я предпочла бы не принимать это положение как данность без дополнительных специальных исследований. Но нельзя не замечать и компенсационных механизмов, порожденных самой новой ситуацией – они очевидны и хорошо описаны на примере других обществ (например, африканских), традиционно отдающих рабочую силу в ходе сельско-городских и транснациональных миграций.

Набирающая обороты трудовая миграция в Россию и в Казахстан (где по-киргизски, как известно, не говорят), оставляя обезлюдевшими целые села на юге Киргизии, хотя и является нередко тяжелейшим испытанием для вовлеченных в нее людей, дает им определенные экономические выгоды и обогащает новыми навыками социальной коммуникации, в том числе и языковыми. По моим наблюдениям (думаю, это заметно каждому любопытствующему москвичу), мигранты из Центральной Азии, занятые в "белых", легальных сегментах экономики (дворники, официанты, уборщицы и пр.), прилично владеют русским языком. Что касается переводчиков в страну денег, то они, среди прочего, могут вкладываться в образование детей. Возьмем пример почти поголовно моноязычной университетской группы, о которой пишет М. Ривз. Если учебников на киргизском языке до сих пор крайне мало, трудно поверить в то, что студенты к окончанию срока обучения, даже если лекции читаются по-киргизски, не обретут каких-то познаний русского – через "русские" учебники и пособия, общение пусть с немногими, но русскоязычными однокашниками и преподавателями, Интернет, какие-то выездные мероприятия и т. д.

Не будем забывать и о внутренних миграциях в Киргизии, которые активизировались после событий 2005 г. – движение с бедного Юга на более развитый и во многом русскоязычный Север<sup>31</sup> (третья волна). "Нашествие южан" – предмет жалоб многих моих бишкекских знакомых разных национальностей летом 2007 г., но ограничилось лишь сменой высших лиц государства и сдвигами в составе чиновничьего корпуса. В провинциальном Караколе новые веяния тоже ощущались (в виде притока торговцев на рынки и строительных бригад "шабашников"), хотя обсуждались местными жителями без политической ажитации. Похожие процессы происходят и в Узбекистане<sup>32</sup>.

Независимо от того, вернутся ли мигранты в свои села для постоянного проживания, скорее всего, финансовые и информационные потоки будут постепенно расширять порожденную экономическим упадком замкнутость моноэтнических сельских сообществ Киргизии. Вопрос в том, случится это "рано" или слишком "поздно". С уче-

том всего сказанного, я в целом разделяю опасения М. Ривз, но в ином ракурсе. На мой взгляд, главным дестабилизирующим фактором, причем первичным по отношению к этноязыковым процессам, является не этнолингвистическая, а социально-экономическая "бифуркация" страны – продолжающий нарастать, несмотря на компенсаторный эффект трудовых миграций, разрыв между ее "севером" и "югом". Конечно, это «необходимо учитывать при изучении "интеграционных стратегий" (русскоязычных. – Н.К.), которым в книге посвящено много страниц», но не в меньшей степени, если не в большей, эта проблема затрагивает все сегменты киргизстанского общества. И тут мы подходим к важной теме, поднятой в нескольких откликах (Е.В. Абдуллаева, А.Н. Алексеенко, А.В. Мальгина и др.) – **"Что же будет дальше?"**.

Сразу вынуждена возразить В.И. Мукомелю. По его мнению, мои "выводы базируются на исследованиях середины и отчасти конца 1990-х годов и справедливо применительно к тому специфическому времени" и в основном к Киргизии. Важнейшие (и в качественном, и в количественном отношении) данные были получены во время экспедиций 1998, 1999 и 2003 гг. Из "этой же оперы" – и упрек в том, что "в книге ни слова о феномене 2000-х годов – массовых трудовых миграциях граждан Киргизии в Россию и Казахстан". Вряд ли в наше время можно оставаться в неведении относительно этого феномена, тем более ученому, и в книге об этом есть "слово" и даже не одно; приведены также некоторые статистические данные<sup>33</sup>. Понимая, что исследование охватывает довольно значительный период времени (и Россия, и Киргизия не сразу, а постепенно становились "другими"), я не раз предпринимала попытки обрисовать суть изменений и "вплести" их в интерпретацию данных, а также наметить возможные варианты будущего развития событий (см., напр., с. 88–89, 278–291, 571–576 и др.).

Изучив значительный объем литературы и источников (отечественных и зарубежных), я старалась сопоставить свои выводы с материалами, полученными на примере других постсоветских стран, а невозможность (из-за больших размеров книги) приводить такие данные развернуто компенсируется ссылками на работы других авторов. Кроме того, как мне кажется, многие из поднятых вопросов и их трактовки (о "диаспорности" и "автохтонности" в постсоветских условиях; о содержании и динамике постсоветской идентичности, об "имперском" ментальном наследии, параметрах "экономики повседневности" и др.) могут быть полезными для анализа этносоциальных процессов не только в рамках бывшего СССР, но и за его пределами (отклики Л.Л. Фиалковой и М. Ривз, как и постоянно идущий неформальный обмен мнениями с коллегами подтверждают такую оценку). Это значит, что книга не только "объясняет настоящее" (по выражению А.М. Хазанова), но может чем-то помочь и в высветлении контуров "будущего" – тем более, что она посвящена не политической событийности, а тем социальным процессам "низового" уровня, которые отличаются значительной степенью инерционности.

Теперь непосредственно о будущем и о том, как его интерпретируют участники дискуссии. А.В. Мальгин, например, связывает "наступление уже совсем иной эпохи" с событиями "оранжевой революции" на Украине конца 2004 г. Замечу, что ситуация там развивается очень специфично; сам же автор убедительно показал в другой своей работе, что "борьба языков" в этом государстве (она упоминается в отклике в качестве одного из проявлений "новизны") не имеет аналогов на постсоветском пространстве (Мальгин 2007). По мнению А.Н. Алексеенко, принципиально иные условия существования русскоязычных в Казахстане начали складываться с конца 2006 г., когда государство более активно взялось за укрепление статуса казахского языка и оживилось "ономастическое творчество". К слову сказать, в отклике А.Н. Алексеенко никак не упоминаются те процессы (экономический рывок, превращение страны в реципиента мигрантов и пр.), которые, по мнению ряда участников дискуссии, в последние годы уверенно выделяют Казахстан из сообщества соседей по региону.

Высказывая опасения по поводу возможных сдвигов в положении и мироощущении русскоязычных в будущем, участники дискуссии не учитывают, на мой взгляд, ряд важных и взаимосвязанных моментов.

Во-первых – это особенно заметно в отклике А.Н. Алексеенко – роль государства абсолютизируется и даже демонизируется, оно видится какой-то необоримой силой, которой трудно что-либо противопоставить (так, например, казахстанский ученый пишет о "полной зависимости русскоязычных от государственных решений"). Между тем даже в условиях тоталитарных режимов советского образца в пору их наивысшей мощи власть государства не была абсолютной. Тут приходит в голову довольно любопытный пример из недавно прочитанной книги из серии тех, что призваны пересмотреть историю Великой Отечественной войны. Оказывается, в ее первые месяцы процент неявки в военкоматы по мобилизации, а также масштабы дезертирства из действующей армии были довольно значительными, и это в условиях тотального контроля над телами и душами людей, усиленного обстоятельствами военного времени! Я упоминаю об этом не для того, чтобы обсуждать организационные, моральные и какие-либо иные аспекты описанной ситуации. Просто хочу привлечь внимание к хорошо известным исследователям повседневности разнообразным низовым тактикам "избегания", "торга", поиска обходных путей, обращения к разнообразным неформальным сетям взаимопомощи и т. п. Хотя на примере постсоветских обществ они описаны недостаточно, это не значит, что таких механизмов не существует – тем более, что государство в интересующих нас странах (включая и Россию), несмотря на различия в характере политических режимов, тоталитарным отнюдь не является и предоставляет своим гражданам значительно больше индивидуальной свободы и возможностей для индивидуального выбора, нежели в советское время.

Во-вторых, соображения по поводу будущего, высказанные А.В. Мальгиным и А.Н. Алексеенко, являются результатом политологической рефлексии, взглядом "сверху" и потому слабо учитывают то, что думают по поводу всех наступивших и грядущих изменений обычные люди, как они на них реагируют, как к ним адаптируются. Обращусь к важному сюжету об "ономастическом творчестве", оживление которого в Казахстане отмечает А.Н. Алексеенко.

Политически ангажированная<sup>34</sup> часть русскоязычных – активисты "славянских организаций", представители интеллигенции, особенно ученые-гуманитарии, в течение всего постсоветского периода высказывали свое бурное несогласие с переименованиями, сопровождавшими в постсоветских странах расставание с "имперским" прошлым. Текстов, транслирующих эту точку зрения, предостаточно, а вот о позиции "улицы" мне лично читать не доводилось<sup>35</sup> (кстати, небезынтересно, что думают о топонимических инициативах своих властей сами казахи, киргизы и пр.). Заслуживающее внимания предположение о позиции "русского человека" со свойственным ему остроумием высказал С.А. Арутюнов, критикуя одного из авторов коллективной монографии о постсоветских миграциях: «Что же до Казахстана, то оказывается, "главное, что глубоко задевает большинство русских, чего они больше всего боятся, это угроза их ассимиляции посредством переписывания истории, внедрения казахского языка во все сферы жизни, перенаименования всего, вплоть до водочных этикеток и даже новых, нерусифицированных фамилий"... Правда, мой жизненный опыт подсказывает, что русский человек обычно без страха и отвращения взирает на любую водочную бутылку, как бы заковыристо она не называлась. Конечно, если фамилии соседей будут заканчиваться на "улы" или "кызы" вместо привычных "ов" или "ев", тут есть над чем призадуматься... То, что все это на самом деле совершенно естественные и необходимые шаги при попытке поднять национальные культуру и язык из бездны глубочайшего (и искусственно созданного!) упадка», автору в голову не приходит (Арутюнов 2000: 149).

В-третьих, политическая нестабильность, которая постоянно "трясет" некоторые постсоветские страны в 2000-е годы (в частности, Киргизию и Украину), может очень по-разному ощущаться в столицах, где принимаются судьбоносные решения и бурлят митинговые страсти, и в обычно спокойной провинции, где люди гораздо более дистанцированы от "площадной демократии" (хотя, конечно, понятие "провинция" для каждой страны свое). Я пишу это в качестве комментария к замечанию М. Ривз. Ее предположение о том, что политические потрясения и порождаемая ими социальная тревожность способны «усилить степень социального размежевания, обострить у определенных групп чувство своей "самости"», заслуживает всяческого внимания. Но в этой связи хотелось бы рассказать о собственных наблюдениях. Практически все люди, с которыми мне удалось пообщаться в Бишкеке летом 2007 г., в основном мои давние знакомые, главной темой беседы избрали политику. Делились сомнениями, тревогами – туда ли мы идем, что с нами будет при таком слабом государстве; много говорили, как я уже упоминала выше, о "нашествии южан" и порождаемых этим проблемах. В Караколе же, куда переместилась экспедиция, интерес к "большой" политике практически отсутствовал. По крайней мере, по инициативе респондентов в ходе нарративного интервью, посвященного изменениям в жизни людей и города за последние годы, эта тема не возникала, а в ответ на конкретные вопросы респонденты называли происшедшее в Бишкеке далекими от местной жизни "столичными играми".

Если резюмировать, то мои соображения, высказанные под рубрикой "Куда идем?", ни в коем случае не означают неприятия того очевидного факта, что "день грядущий нам готовит" много неожиданного, и что дальнейшие изыскания могут привести к пересмотру или корректировке моих выводов. В добрый путь! Были бы исследования! Пока же мы находимся на уровне общих рассуждений или интересных наблюдений, которые могут служить ориентирами для методологически выверенных и нюансированных исследований, но никак не альтернативой оных.

\* \* \*

В заключении остановлюсь на материале С.С. Савоскула, который, являясь формально вкладом в организованную мной дискуссию (о чем неоднократно пишет он сам), по своей структуре, размеру и, главное – содержанию и тональности явно стоит особняком. Как "комментатор" я нахожусь в сложном положении, поскольку жанр повествования четко не определяется. Ясно, что это не научная статья. Это и не рецензия на конкретную книгу – в подобных текстах персоне самого автора рецензии и ее/его творческим достижениям обычно столько внимания не уделяется. Это, строго говоря, и не отклик в рамках нашей дискуссии: хотя мое имя и моя работа упоминаются С.С. Савоскулом многократно, собственно о книге сказано очень мало содержательного, и читатель, не имеющий под рукой другого источника информации или самой книги, вправе развести руками: все-таки о чем же эта работа, вызвавшая явное неудовольствие автора отклика?

То, что может узнать читатель о книге, сводится в основном к следующему. Автор (т.е. я) пыталась определить предмет своего исследования, но запуталась в своих же схоластических построениях. Концептуальные подходы несколько раз характеризуются как "неудачные". Результатом моей работы С.С. Савоскул, "преодолев почти 600-страничный труд", считает некие "усредненные сведения" – не очень впечатляет, не правда ли? Если я и сумела "увидеть и исследовать ряд новых явлений", мне в этом помог "именно фактор времени". Спрашивается – а почему он не помог другим заметить то же самое и даже больше? Но сами эти увиденные мной "новые проблемы и явления" сводятся лишь к возвратной миграции и к "эволюции гражданской и этнической идентичности", хотя тематика книги гораздо более разнообразна.



Далее читатель узнает, что для западных ученых, работы которых в книге подробно анализируются и нередко используются для подтверждения авторской позиции, "проблема русских в новом российском зарубежье никак не могла стать... предметом чисто научных, объективных исследований", причем главной причиной этого С.С. Савоскул считает "в той или иной мере" свойственные им "антироссийские настроения". Да и сама я (хотя тут обо мне говорится не прямо, а в третьем лице) фактически обвиняюсь в том, что для "обоснования преимущества своих теорий и гипотез" о каких-то фактах умалчиваю или их не замечаю, а какие-то выпячиваю. Кроме того, я еще и нашу родную действительность, а заодно и "русских жителей" России рисую "одними черными красками", а своим респондентам – русскоязычным Киргизии и "в меньшей мере киргизам", напротив, "симпатизирую", а значит, опять необъективна.

Должна заметить, что рассказывая вот такими "красками" об обсуждаемой книге, мой оппонент использует известный, но не очень честный прием, который я называю "критикой извне". Он состоит в том, чтобы попенять автору на отсутствие этого, того, а также пятого и десятого (а ведь какую работу ни возьми, она не может рассказать обо "всем"), не замечая или не желая замечать того важного момента, что соответствующие задачи просто не ставились. Вариант: можно приписать автору некие цели, а потом упрекнуть в том, что они, дескать, не реализованы<sup>36</sup>.

В итоге создается весьма усеченное, искаженное и – пытаюсь смотреть глазами не знающего о содержании книги читателя – маловразумительное о ней представление<sup>37</sup>. А судя по тому скрупулезному вниманию, которое С.С. Савоскул уделяет в своем тексте "отбиванию ударов", т. е. доказыванию моей постоянной неправоты при критике его взглядов, утверждений и пр., возникает впечатление, что я просто "зациклена" в книге на выяснении научных с ним отношений. Естественным продолжением этой тактики самореабилитации и самоутверждения является то диспропорционально значительное место, которое отведено в отклике рассказу о творческих достижениях самого С.С. Савоскула и его "маленького коллектива": о том, как все начиналось и продолжалось, скольких "лет жизни" потребовало и какие трудности пришлось преодолеть, а также о том, какие книги и статьи о "русских нового зарубежья" в итоге увидели свет. Дополняет этот отчет о проделанной работе, на мой взгляд, неуместный в тексте участника дискуссии список публикаций самого С.С. Савоскула и его коллег.

Этот пространственный "отчет" преследует и другую цель – дать понять, что сделанное им самим и другими работавшими с ним сотрудниками Института этнологии и антропологии, по сути, "закрывает проблему"<sup>38</sup>, а потому мои претензии на "первооткрывательство" и новаторство необоснованны. Весь текст, даже его собственно научная часть, посвященная проблеме идентичности, имплицитно предполагает, что то, о чем я пишу (в представлении С.С. Савоскула), давно известно, понятно и исследовано. Зачем было огород городить?

Почему возникла такая реакция? По-человечески ее объяснить легко. Долгие годы шла работа, были потрачены большие усилия и получены неплохие результаты, но вдруг возникает какая-то неведомая Космарская, все переворачивает с ног на голову, да еще и критикует всех подряд. В нашей науке критически анализировать чужие работы не принято, гораздо удобнее или не замечать их, или хвалить. Есть отдельные крупные фигуры, которые по неписаной традиции могут являться объектом критики и постоянно продуцируют ее сами (например, В.А. Тишков), к чему все привыкли. Но ведь Космарская к таким фигурам не относится... Конечно, похвалы весьма полезны для психического здоровья, но если исходить из потребностей развития науки, полемика переосмысление пройденного все же должно стать необъемлемой частью нашей работы, и тогда критика будет восприниматься менее болезненно.

Еще более важный момент – мой оппонент и я принципиально расходимся в нашем видении социальной реальности; в частности, в понимании природы этничности, ее значимости для людей, их сообществ и государств, трактовке ее бытовых проявлений

и т. д., и т. п. Отсюда принципиальные различия в предпосылках исследований и, естественно, в их результатах.

Если быть краткой, я изучала активных социальных индивидов разной "паспортной" национальности, хотя и объединенных в качестве "детей империи" (исторической судьбой, базовой культурой и т. д., см. с. 23), но по многим параметрам отличающихся друг от друга. Действуя в пространстве социально-политических "раздражителей" разной природы, эти индивиды вынуждены на них реагировать<sup>39</sup>, либо "включая", активизируя этничность в качестве защитного, объяснительного, ресурсного или иного механизма, либо обращаясь к другим формам социального взаимодействия; формируя разные лояльности и привязанности и вступая в разные социальные коалиции. Иными словами, надо "не исходить заранее из значимости и наличия активных проявлений этнического и национального"; главной целью "должны стать попытки обнаружить и четко определить, когда, где и как они становятся значимыми и начинают проявлять себя. Этничность – не вещь, не некая материальная субстанция; это призма, с помощью которой мы интерпретируем окружающий мир... И это всегда только один из многих возможных объяснительных ракурсов" (*Brubaker et al.* 2006: 15).

Исходя из этого подхода, у меня, кстати, не было никакого резона специально охотиться за немцами, евреями и другими представителями "нерусских русскоязычных"<sup>40</sup>. В опросные выборки они, естественно, попали (национальная структура выборок отражала долю соответствующих этнических групп, как и собственно русских, в населении Бишкека, см. с. 45–46). Что касается поиска респондентов для интервью, применялись стандартные методики, в частности, "снежного кома" и др. (они описаны в соответствующих частях работы). И тут, поскольку принятая тактика не предполагала с моей стороны проявления назойливого интереса к этничности респондента, он/она могли "открыться", иногда неожиданным образом (например, русский "превращался" в немца – один пример такого рода приведен выше), а могли и оставить меня в неведении относительно данной стороны своей натуры.

Однако С.С. Савоскул, понимая предпосылки моего исследования совершенно механистически, делает вывод: раз в процесс интервьюирования не были вовлечены люди, говорящие о себе: "Я – немец", "Я – еврей", "Я – татарин" и т. п., раз их этническая принадлежность четко не зафиксирована, значит, мной "так и не был осуществлен концептуальный... подход к объекту" изучения, коим он считает неких "абстрактных" русскоязычных.

Я же, в свою очередь, переадресую упрек. На мой взгляд, именно он исследует, с помощью своеобразных "этнических очков", неких "абстрактных русских", подменяя ими живых людей, которые находятся в подвижной социальной среде и используют при адаптации к ней различные "интерпретационные призмы". Русские ближнего зарубежья изучаются им как сплоченные представители "единого народа-этноса, сохраняющего один язык, единые для всех русских традиционные ценности русской профессиональной и народной культуры и единое русское самосознание".

Я не имею возможности, да и желания подробно рассматривать сейчас особенности и все вариации подобного подхода, который можно называть примордиализмом, эссенциализмом, группизмом или этноцентризмом, а можно вообще никак не называть, довольствуясь описанием. Мне важно лишь зафиксировать кардинальные различия между мной как исследователем и моим оппонентом. Займу еще толику читательского внимания и приведу два примера, иллюстрирующих эти различия достаточно ярко.

Судя по последнему примечанию к тексту моего оппонента, "общерусская идентичность" видится ему своего рода концентрированным раствором, крепость которого, понятное дело, слабеет, если в банку добавить "нерусских". Однако, даже если изъять из бишкекских выборок всех немцев, татар, евреев, украинцев и пр., зафиксированная мной сложная и многоцветная структура идентичности оставшихся "русских" никуда не денется. Например, при ответе на вопрос: «Частью какой общности Вы себя считае-

те, о ком Вы могли бы сказать "мы", "наши"?», одни "паспортные" русские выбирали из десяти предложенных опций "неэтнические" варианты, а другие – этнические, а в рамках последних для кого-то значимой оказалась локальная идентичность, а для кого-то "общерусская" или какая-то из них вкупе с гражданской – вариантов множество.

Второй пример касается попытки С.С. Савоскула привлечь на свою сторону меня, а заодно и "русское, да и титульное население нового зарубежья", в чьей "массовой исторической памяти отчетливо осознается преимущественное участие русских в модернизации Украины". Тут же дается ссылка на главу моей книги "Чем мы были друг для друга? История межкультурных контактов в восприятии жителей постсоветской Киргизии". Однако, судя по результатам ответов "русских" и киргизов на открытые вопросы этой части анкеты<sup>41</sup>, все как раз наоборот: респонденты в своем большинстве восприняли слово "русские" в его "трансэтническом", более всего социальном смысле, называя те явления, которые были результатом взаимодействия не отдельных людей или "этносов", а прежде всего социально-политических систем. А некоторые даже делали уточняющие комментарии, например: «надо говорить не "русские, а "Центр", "государство"» (с. 425–426).

Указанные (и весьма устойчивые<sup>42</sup>) различия в видении социальной реальности во многом объясняют и несогласие С.С. Савоскула с моей критикой конкретных положений его книги (поэтому погружаться в этот сюжет я считаю здесь совершенно излишним и беспомощным). Сюда же примыкает и проблема "миграционизма". Ученые, которых я отношу к этой категории – совсем не обязательно те, кто занимался непосредственно миграциями русскоязычных из стран ближнего зарубежья<sup>43</sup>. Речь идет опять же о взгляде на мир. "Миграционизму", на мой взгляд, свойственны "этнизация" социальных процессов, особое внимание к прямым и косвенным факторам дезинтеграции ("общерусской идентичности"<sup>44</sup>, конфликтности в отношениях людей на основе этничности – как будто иных оснований для социального противостояния не бывает, и т. п.), и вообще – стремление всеми способами, осознанно и неосознанно, связать изучаемую группу с Россией. Вспоминаю одного известного российского ученого, который в благодушной атмосфере постконференционного банкета, выслушав ранее мой "крамольный" доклад, задал мне такой неформальный вопрос: "Слушайте, эти русские, ну что они забыли в этой вашей Киргизии?". Между тем все многообразие социальных контекстов, связывающих "детей империи" со странами проживания и их титульным населением, достойным объектом исследования не считается.

С.С. Савоскул в своем тексте упрекает меня в некорректном использовании материалов опросов. Вполне в духе "миграционизма" он высказывает недоверие к приводимым мной данным о довольно "резвой" социальной мобильности русскоязычных Киргизии, считая, что результаты соответствующих опросов в Бишкеке и Рыбинске несопоставимы. Отчего же? Социологически они вполне сопоставимы, поскольку проводились на основе идентичной методологии (подробно в книге описанной), и обе выборки отражали возрастную структуру соответствующих генеральных совокупностей. Кроме того, Рыбинск – это не просто райцентр (хотя и "довольно многолюдный", как пишет С.С. Савоскул); по ряду параметров он был социологически корректно выбран участниками проекта как "средний российский город". Конечно, если бы сравнение производилось с Москвой, показатели бишкекских русскоязычных были бы гораздо скромнее. Но суть совершенно не в этом.

Как я писала во введении к разделу "Особенности экономической адаптации" (с. 294–295), эта проблематика (в связи с "русскими" ближнего зарубежья) оказалась совсем неисследованной западной наукой и в минимальной степени – наукой российской. А потому на данном тематическом поле академический дискурс, на мой взгляд, оказался подавленным политико-публицистическим, широко распространявшим мифологизированные клише типа: "русского бизнеса в странах СНГ нет", "русские живут хуже титульной нации", "среди них преобладают неимущие семьи" и т. п. В своем

"экономическом разделе" я поставила поэтому достаточно скромную задачу: посеять разумные сомнения, выражаясь юридическим языком, в жизнеспособности тех упрощенных, черно-белых конструкций, которые только что были перечислены, и других, им подобных. Главным было привлечь внимание к факторам, не препятствующим, а, напротив, способствующим экономической адаптации и социальной мобильности, и сравнение двух опросов вполне укладывалось в рамки данной задачи. А различия в образовательном потенциале россиян (в провинции) и русскоязычных Киргизии я не только не скрывала (и тем паче не была в неведении относительного данного обстоятельства), а всячески подчеркивала, наряду с другими моментами со знаком "плюс" (психологическими установками среднеазиатских "русских", интенсивностью экономических реформ в Киргизии и др., с. 331–336).

Еще один пример, касающийся интерпретации полевых материалов. По мнению моего оппонента, приводимые мной на с. 113 данные "неоспоримо свидетельствуют о массовом характере этноконфликтных ситуаций" в первой половине 1990-х годов. Я не считаю, что результаты упоминаемого им опроса следует трактовать столь жестко, хотя, конечно, одних этих цифр маловато для окончательных выводов о характере, интенсивности напряженности и ее динамике. Я и пишу на указанной странице достаточно осторожно: «Можно предположить, что ни с точки зрения интенсивности "конфликтов" по времени, ни по охвату сообщества русскоязычных вширь, они не были явлением массовым, фактом повседневной жизни». А потом это предположение проверяется (о чем мой оппонент умалчивает) всеми имеющимися в моем распоряжении средствами (с. 112–155). Это и мнения экспертов, и мои личные наблюдения, и анализ пилотажных интервью с сельскими жителями, который позволил прояснить, что они понимают под словесной конструкцией "конфликт на национальной почве" и выявить частоту попадания ими в "конфликтные ситуации"; сопоставление "низовых" мнений с публичным дискурсом и, наконец, данные моего собственного опроса и интервью, на основе которых был подтвержден важнейший вывод о субъективности восприятия ситуации различными группами русскоязычных (на протяжении всей книги я называю их "желающими уехать" и "желающими остаться").

А что касается объективности как таковой – я совершенно согласна с позицией Л.Л. Фиалковой, прозвучавшей в ее отклике. Абсолютной объективности не бывает (и я на нее и не претендую), а "единственным способом смягчения проблемы" и элиминирования возможной "кривизны" каких-то данных является привлечение максимального возможного числа мнений и материалов, собранных разными методами. Это я и пыталась делать на протяжении всей работы.

Теперь несколько слов о "симпатизирующей" и "очерняющей" этнографии. С.С. Савоскул упрекает меня в особых симпатиях к одной группе моих респондентов – "тех, кто настроен на интеграцию". Вообще-то говоря, других у меня почти не было; в соответствии с задачами исследования, меня интересовали в первую очередь люди, намеренные остаться в Киргизии, а голоса тех, кто хотел уехать, прозвучали, но только через открытые вопросы анкеты. А что до симпатий... Качественные исследования по определению – такая тонкая и плохо поддающаяся контролю со стороны материя, что при желании любому ученому можно предъявить аналогичные претензии. Кроме того, качественная социология имеет еще и другое название – "понимающая социология", т. е. предполагает как минимум большой интерес и неравнодушие к собеседнику со стороны исследователя. А эти чувства, опять же при желании, вполне можно принять за симпатию и упрекнуть в необъективности.

Далее. Моему оппоненту не понравилось, что при анализе опыта пребывания в России возвратных мигрантов "российская сторона" и "русские жители"<sup>45</sup> показаны в книге "практически одними черными красками". В то же время голоса тех, кто успешно адаптировался на "исторической родине", "абсолютно отсутствуют" (тут мне слышится почти советская тоска по "положительному герою"). Во-первых, в группе проин-

тервьюированных мной возвратных мигрантов было-таки несколько человек, которые устроились вполне нормально и вернулись лишь по личным причинам. Во-вторых, тут мы опять имеем дело с "критикой извне". Если кто-то изучает возвратную миграцию в стране "возврата" и механизмы притяжения-выталкивания на двух стадиях этой миграции (выезд – переезд обратно), то анализ успешно остановившихся на первой стадии совсем в эти рамки не вписывается.

А теперь о "черных красках". Не знаю, есть ли у С.С. Савоскула опыт полевых исследований адаптации вынужденных переселенцев в первой половине 1990-х годов. У меня он есть, и довольно большой, причем в сельской местности, куда и попали большинство моих респондентов из числа возвратных мигрантов. Замечу в скобках, в деревне "полевая работа" продолжается непрерывно, разве что за исключением часов сна, а объем общения обычно огромен. Так что далеко не только со слов вернувшихся обратно киргизстанцев я могла судить о том, что творилось в российской сельской глубинке в тот тяжелейший для страны период, а также обо всех перипетиях приспособления к новой жизни переселенцев из Центральной Азии (см.: *Космарская* 1999). И не я одна. Исследователи, которые много времени провели в поле, воспроизвели весьма похожую картину (см., напр.: *Филуннова* 1997; *Pilkington* 1998). А в качестве последнего художественного мазка к ней упомяну социологически безупречный, на мой взгляд, очерк "Завражье" из сборника новелл А. Волоса "Хуррамабад" (*Волос* 2000).

С.С. Савоскул ставит вопрос и о необходимости научных интерпретаций и объяснений негативного опыта переселенцев. Конечно, спасибо ему за интеллектуальные подсказки, однако в своей более ранней работе (*Космарская* 1999) я уже провела такую работу, как мне представляется, достаточно глубоко, предложив типологию моделей взаимодействия принимающих и "переселенческих" сообществ и рассмотрев такую модель на примере Центральной России. Так что в книге, посвященной уже иным сюжетам, мне показалось достаточным ограничиться отсылкой к этой статье.

Напоследок хочу остановиться на претензиях С.С. Савоскула к западным ученым, занимающимся изучением постсоветских обществ. Нельзя сказать, что проблемы вообще не существует. Бесспорно, все великие и значимые теории (разного уровня), касающиеся природы и законов "социального", были созданы на Западе. Однако создавались они единицами или десятками людей, а используют их сотни, если не тысячи, среди которых есть очень сильные исследователи, средние, а есть и откровенно слабые; преданность науке и ангажированность также варьируют по своей интенсивности. Кроме того, мы, ученые, пишущие на русском языке (вне зависимости от страновой принадлежности), уже пережили наступивший в начале девяностых период "опьянения" всем и вся: новыми возможностями, новыми "полями", новыми контактами и теориями. И за прошедшие годы мы многому научились. Вот почему я уже не считаю, что любая западная работа по определению лучше "нашей" (хотя раньше думала именно так). По моему мнению, именно сейчас научное общение сторон обещает стать гораздо более продуктивным, ведь взгляд "с двух точек" поможет лучше понять и позиции друг друга, и изучаемую нами очень сложную, изменчивую реальность.

А если говорить о тех конкретных ученых, работы которых я подробно анализирую, я не могу назвать их необъективными, а тем более страдающими антироссийскими настроениями. Аналогично, я не вижу оснований для пересмотра прозвучавших в книге моих оценок их научных выводов, концепций и пр. Впрочем, обсуждать эту проблему как в широком, так и в узком, персонализированном контексте имеет смысл с людьми, которые хорошо знают англоязычную литературу и "держат руку на пульсе" западных исследований.

Моя полемика с С.С. Савоскулом в полной мере отражает трудности развития нашей этнологической науки. Работы, выполненные в русле устоявшихся российских традиций изучения народов, обладают, безусловно, многими достоинствами. Я сама немало почерпнула из этих работ, и мои прозвучавшие в книге похвалы в их адрес бы-

ли вполне искренними. Однако это не означает, что не имеют права на существование, признание и творческое усвоение исследования принципиально иного плана, авторы которых пытаются проторить новые дорожки и показать окружающий нас мир с совершенно другой стороны. Надежда на диалог еще остается...

### Примечания

<sup>1</sup> О концепции "треугольника" см., напр.: *Коротеева* 1999; *Брубейкер* 2000.

<sup>2</sup> Причем прилагательным в данной связке чаще выступает более жесткое и статичное слово "этнократический" (режим), нежели слово "национализирующийся", грамматически означающее некую процессуальность и незавершенность.

<sup>3</sup> О возможности и такого "поворота" в Киргизии размышляет, например, Т. Вуд (*Wood* 2006).

<sup>4</sup> Как отмечалось в одной из рецензий на обсуждаемую работу (*Эпштейн* 2006), "особенность книги... состоит в том, что масштабные процессы вроде распада СССР и его последствий показаны с точки зрения интересов маленького человека, а не государства".

<sup>5</sup> См., напр., материалы коллоквиума "Современная этническая Россия: свойственен ли ей кризис идентичности?", состоявшегося в 1978 г. в Колумбийском университете (США). Дискуссия проанализирована в: *Kolsto* 1996: 610–611; см. также: *Космарская* 2006: 380.

<sup>6</sup> К этому выводу подталкивают эмпирические исследования последних лет, выявившие, например, большую склонность к культурно-лингвистической интеграции представителей некоторых нерусских групп в сообществе "детей империи" (см., напр.: *Ганеева* 2006; *Волков* 2002: 75).

<sup>7</sup> Мы будем использовать более привычный термин "Средняя Азия" не столько как дань устойчивой терминологической традиции, сколько для того, чтобы ограничить предмет анализа. Дело в том, что современная ситуация в Казахстане – и экономическая, и этносоциальная – достаточно сильно отличается от среднеазиатской.

<sup>8</sup> Впрочем, понятие "империя" в применении к СССР до сих пор остается скорее метафорой, нежели проясняющим понятием. Во многом это связано с тем, что "определение империи и империализма остается важным, но противоречивым" (*Doyle* 1986: 30).

<sup>9</sup> Поэтому постановка в данной дискуссии "русских" в кавычки («"русские" ближнего зарубежья»), по меньшей мере, в случае Средней Азии, совершенно не обязательна; достаточно оговорить, что речь идет о "русских" как инклюзивной этничности, а не о пресловутой "пятой графе".

<sup>10</sup> Примечательно, что одним из критериев отбора "успешных адаптантов" была занятость в негосударственном секторе, с. 347.

<sup>11</sup> Еще одна претензия к названию, претендующему на обобщение применительно ко всем центральноазиатским государствам. Во-первых, материала по другим государствам региона, кроме Киргизии, немного. Во-вторых, вынесение в название Центральной Азии оправдано применительно к 1990-м годам, но не к началу 2000-х, когда резко увеличился разрыв в социально-экономическом развитии Казахстана и других государств региона. И главное: Казахстан, будучи региональным экономическим лидером, экспортируя товары и инвестиции, предъявляя растущий спрос на рабочую силу, конкурирует с Россией с ее имперскими замашками.

<sup>12</sup> См., в частности, аргументацию Дж. Шоберлейна-Энгеля (*Schoeberlein-Engel* 1994), В.А. Тишкова (*Тишков* 2003) и Р. Брубейкера (*Brubaker* 2004).

<sup>13</sup> Мне вспоминаются в данной связи сетования одной из моих коллег из Бишкека, которая как раз назвала бы себя "русскоязычной" (в том смысле, в каком это слово трактуется в обсуждаемой книге). В ответ на предположение окружающих о том, что она "убежит в свою Россию", если политическая ситуация ухудшится, она с огорчением замечала: "Почему они думают, что я должна или буду связывать себя с Россией больше, чем с Кыргызстаном? Почему они думают, что Россия склонна считать меня своей в большей степени, чем Кыргызстан?" Такое приписывание человеку определенной позиции на основе ее/его этничности как раз и конструирует социальные границы в сообществе.

<sup>14</sup> Правда, необходимо отметить, что даже в Бишкеке есть социальные ареалы с четко выраженной этнолингвистической гомогенностью (таковы, например, новостройки вокруг города, населенные преимущественно сельскими мигрантами разных волн).

<sup>15</sup> Под странами нового российского зарубежья я имею в виду другие – кроме России – постсоветские государства; соответственно, старым зарубежьем обозначаю все страны за пределами бывшего СССР.

<sup>16</sup> Я не согласен с "имперским" определением СССР хотя бы потому, что в таком случае РСФСР (или хотя бы ее Европейскую часть) следовало бы считать метрополией, между тем как

ее положение среди других союзных республик не было привилегированным ни в политическом, ни в социально-экономическом отношении. А если судить по условиям и уровню жизни ее населения, то в России они часто были ниже, чем в большинстве других республик. Некоторые авторы даже пишут, что СССР был скорее "империей наоборот" (Тихиков 2006: 28).

<sup>17</sup> К слову сказать, не отрицая значимости качественных методов в расширении познавательных возможностей при изучении интересующей нас сейчас тематики, довольно удачно продемонстрированных в книге Космарской, я отнюдь не согласен с тем, что именно их применение, как она, кажется, полагает, является чуть ли не главным условием прорыва в изучении русского и другого русскоязычного населения нового зарубежья. Применение качественных методов отнюдь не гарантирует высокого качества исследования, поскольку весьма качественными могут быть и исследования, в которых применяются и количественные методы анализа, основанные на квалифицированно проведенных массовых опросах. Огромны возможности "количественных" исследований и для различных, в том числе кроссрегиональных, межстрановых сравнений и т.д.

<sup>18</sup> Нацеленность на изучение именно русских была связана и со своего рода преемственностью в нашей научной работе. Перед тем, как приступить к выполнению программы изучения русских в новом зарубежье, члены нашей будущей группы участвовали в длительной работе по сбору материалов, а затем и в написании монографии "Русские: этносоциологические очерки", вышедшей на следующий год после распада СССР. В этой книге, основанной на результатах многолетнего изучения социально-этнических аспектов развития советского общества, на примере русского населения РСФСР, а также русских и представителей титульных национальностей ряда других союзных республик, представляющих основные регионы нашей страны (Грузии, Молдавии, Узбекистана и Эстонии) – инициатором и руководителем этого научного проекта на протяжении двух десятилетий был Ю.В. Арутюнян – проводилось сравнительное изучение места и роли русских среди других народов Союза. Естественно, что значительное внимание в ней было уделено и многим сторонам социально-экономического, культурно-языкового положения и общественного сознания русских в союзных республиках вне России. Уже в ходе подготовки этой книги, проходившей в бурной атмосфере конца 1980-х и начала 1990-х годов, стала очевидной та сложная ситуация, в которой оказалось русское население во многих союзных республиках вне России, да и в ряде российских автономий.

<sup>19</sup> Основные идеи задуманного тогда проекта, позже изложенные в специальной статье (Савоскул 1992), не раз обсуждались на ряде конференций, в том числе на одной из первых конференций так называемого "Сенежского форума", организованного под эгидой Совета национальностей Верховного Совета РФ. Соучредителем этого форума выступал ИЭА РАН. Вскоре руководимый тогда мною маленький коллектив приступил к наиболее актуальной и востребованной в то время части этой программы, связанной с изучением проблем русского населения нового российского зарубежья. Эта работа, занявшая лично у меня практически 10 лет, была в основном подытожена в вышедшей в 2001 г. монографии. Приступить же к полноценной реализации той части первоначального замысла, которой предусматривалось широкое исследование русских в основных регионах России, по многим объективным и субъективным обстоятельствам не удалось. В последние годы я в какой-то мере попытался исследовать некоторые интересующие меня вопросы русского самосознания на локальном уровне (Савоскул 2005, 2006).

<sup>20</sup> Более того, в одной из своих статей, вышедшей еще в 1992 г., в которой была предпринята попытка определить основные социально-этнические проблемы русского народа, возникшие на новом этапе его истории, я, размышляя о возможных путях развития той его части, которая оказалась в результате распада СССР вне российских границ, предположил, что одним из вариантов эволюции этих территориальных групп может стать превращение их в отдельную этнонациональную русскоязычную группу, подобно тому, как это произошло с немецкоязычным населением Австрии, Швейцарии, англоязычными жителями США, Канады, Австралии и прочих территорий, некогда входивших в Британскую империю (Савоскул 1992: 99).

<sup>21</sup> Подытоживая данные о миграционных связях русских нового зарубежья с Россией, я отмечал, что нередкие в первой половине 1990-х годов опасения и прогнозы об их обвальной миграции в Россию не оправдались, и что к рубежу XX–XXI столетий из 25 млн русских, зафиксированных переписью 1989 г., там осталось около 21 млн (Савоскул 2001: 408).

<sup>22</sup> В рамках этой программы, главные итоги которой подведены в книге автора (Савоскул 2001), вышли также пять коллективных работ, объединенные в серии "Русские в новом зарубежье", две авторских монографии (Субботина 1998; Остапенко, Субботина 1998) и множество статей.

<sup>23</sup> Хочу заметить, что поскольку Космарская исследует не только русское, но и другое русскоязычное население, то с этим, несомненно, связано и усиленно подчеркиваемое ею ослабле-

ние общерусской идентичности ее респондентов – о какой общерусской идентичности можно говорить применительно к населению, часть которого не является русским.

<sup>24</sup> Использование предложенного сочетания "в Украину", в соответствии с решением Украинской академии наук, вместо традиционного для русского языка "на Украину", однозначно свидетельствует о моем неравнодушии к проблемам языковой и культурной самоидентификации в бывших республиках.

<sup>25</sup> В массовом сознании такого рода общность проявляет себя в бытовании собирательного слова "русские", которое как раз и является в Центральной Азии аналогом научного термина "русскоязычные" (в том смысле, в каком я его использовала). Вспоминаются услышанные от коллеги слова одного из его респондентов: "У нас в классе было всего трое русских – Петров, Данильченко и Ким". Похожим образом воспринимают слово "русские" и представители титульных групп (см., напр.: *Laitin* 1998: 195, пр. 54).

<sup>26</sup> Еще в работе 1998 г. я писала о рыхлости и флюидности границ формирующихся диаспор постсоветского образца: «...люди ведут себя как в заштатном кинотеатре: то входят, то выходят, то вливаются в диаспоральное "ядро", то выпадают из него...» (с. 499–500).

<sup>27</sup> Хотя персональный состав "групп спорящих" в значительной степени изменился (о дискуссиях по поводу российских этнополитических реалий см., напр.: *Дятлов* 2004; *Малахов* 2004; *Осинов* 2004; *Тишков* 2005 и многие другие работы).

<sup>28</sup> И тут, я думаю, мы обе правы – М. Ривз, предъявляя составителям претензии в "непрактичности" с этноцентристской подоплекой; я – вспоминая мнение киргизстанских знакомых, хваливших учебник за то, что его "приятно взять в руки", а это немаловажный фактор при обучении младших школьников.

<sup>29</sup> Имеется в виду давление на города в 1980-е годы, вызванное стабильно высоким уровнем рождаемости среди деревенских жителей и нехваткой рабочих мест в сельском хозяйстве. В 1989 г. эти слои громко заявили о себе, объединившись в общество мигрантов-самозастройщиков "Ашар" ("Взаимопомощь"), сыгравшее заметную роль в движениях "национального возрождения". Вторая волна – "переселение народов" уже после распада СССР, в результате чего Бишкек оказался окруженным огромным по площади "миграционным поясом" (эти процессы рассматриваются в главе «Анатомия "бытового национализма"», с. 118–123). Он "рассасывался" очень медленно, постепенно преобразовавшись в ряд отдаленных от центра спальных микрорайонов.

<sup>30</sup> Тут будет уместным ответить на замечание М. Ривз. Бишкек, конечно, нельзя назвать городом, куда легко "проникнуть" (в социокультурном смысле) "извне", т. е. сельским мигрантам, хотя здесь, на мой взгляд, стоит избегать фатальности оценок. Я же писала в книге о том, что в Бишкеке "городское пространство продолжало оставаться легко проницаемым для людей всех национальностей" (с. 179), подразумевая нечто совершенно иное – территориально-социальную проницаемость "изнутри". Для Бишкека, если сравнивать его с Ташкентом (в дальней и ближней исторической ретроспективе), нехарактерны, в частности, излюбленные властями Узбекистана мощные перепланировки с целью ресимволизации городской среды, а также наличие реликтов "старого города" со своим особым жизненным укладом и архитектурно-пространственным устройством (подробнее см. разд. I, гл. 3, с. 171–179).

<sup>31</sup> Характерно, что рассказывая об этнолингвистической ситуации в сельских районах, М. Ривз имеет в виду в первую очередь южную часть страны, в частности, наиболее бедную Баткенскую область. Что касается северных территорий, то титульно-русский билингвизм продолжает оставаться там и "полноценным", и "функциональным", причем и за пределами Бишкека. В этом я могла в очередной раз убедиться летом 2007 г., когда проводила полевые исследования в небольшом г. Каракол, столице Иссык-Кульской области (в рамках научного проекта "Идентичность и социокультурные границы в центральноазиатском городе"). По нашим наблюдениям, киргизы, действительно, стали активнее пользоваться родным языком в общении друг с другом. Но при этом представители всех социальных и демографических групп киргизского населения Каракола русским владеют достаточно свободно (включая и жителей окрестных сел, во множестве торгующих на городских рынках), и что немаловажно, прибегают к нему весьма охотно.

<sup>32</sup> Как отмечает в своем отклике Е.В. Абдуллаев, сельские жители, сумевшие проникнуть в города и закрепиться там, довольно быстро русифицируются (хотя ситуация с русским языком в Узбекистане существенно отличается от киргизстанской – см., напр., помещенный в данной подборке материал Ю.В. Подпоренко).

<sup>33</sup> См. с. 280, 292. Другое дело – поиски ответа на поставленные В.И. Мукомелем вопросы ("Участвуют ли в этих миграциях русскоязычные? Насколько активно, какие ниши на россий-



ских и казахстанских локальных рынках труда они облюбовали?"), хотя и вписывались во временные рамки исследования, но никоим образом – в проблемно-тематические.

<sup>34</sup> Употребляю здесь это слово абсолютно без всяких негативных коннотаций: английский глагол *to engage* означает среди прочего *привлекать, увлекать, занимать, интересовать*.

<sup>35</sup> Общение с рядовыми жителями Каракола, где переименования улиц продолжают до сих пор (правда, местные власти определили неприкосновенный ареал, составляющий "историческое наследие"), свидетельствует о равнодушии к проблеме. Эта тема постоянно всплывала в общении с прохожими при поиске нужной улицы и нужного дома, и самой распространенной реакцией было: "Какая разница, лучше бы эти деньги пустили на что-нибудь полезное для города".

<sup>36</sup> Так, С. Савоскул пишет о том, что у меня нет опроса титульного населения, что "невольнo обеднило результаты", а также об отсутствии целенаправленного "исследования нерусских русскоязычных". По первому пункту скажу, что голоса киргизов в книге присутствуют: во-первых, это мнения экспертов; во-вторых, представителей титульной интеллигенции (анализ прессы первой половины 1990-х годов, с. 564–570); в-третьих, тех обычных людей, позиции которых анализируются в главе о "межкультурном обмене" ("Чем мы были друг для друга?", с. 423–472). Однако исследовать взгляды титульного населения в объеме, сопоставимом с "русскоязычной частью", в мои задачи отноудь не входило.

Теперь о "нерусских русскоязычных". С. Савоскул трижды (!) возвращается на начальных страницах своего текста к одной коротенькой фразе (с. 29). Я пишу, что если работать с "этническими русскими", как принято в нашей науке, а не с инклюзивным концептом "детей империи", то на больших выборках из поля зрения могут выпасть интересные нюансы во взглядах и поведении их нерусских представителей. Тут же дается ссылка на книгу под редакцией П. Колсто, чтобы любознательный читатель смог ознакомиться с такими "нюансами" на примере Латвии и Казахстана. Мой оппонент, однако, не "заметил", что эта фраза завершает семистраничное и, на мой взгляд, весьма убедительное и логичное обоснование причин (политических, исторических, политологических, гуманитарных) выбора мной именно "русскоязычных" в качестве предмета исследования. Ниоткуда не следует, что я планировала специально изучать немцев, евреев, татар и пр. Однако отсутствие таких материалов в книге трактуется С.С. Савоскулом как "неудача". Главное не замечается, второстепенное – выпячивается.

Еще один пример "критики извне" – то, что я использую термин "империя", не определяя его и считая "само собой разумеющимся". Тут мой оппонент пускается в рассуждения о том, был ли СССР действительно империей, а если был, то какой именно. Это серьезнейший вопрос, которому посвящены сотни работ, и включаться в дискуссию по данному поводу совершенно не входило в мои планы. Однако, понимая, что термин является весьма "ответственным", я старалась обращаться с ним осторожно, используя его производные в большинстве случаев в кавычках. Кроме того, споры шли и идут об имперской сущности не только СССР, но и "старой" России, и в одной из глав (там, где это было нужно по ходу изложения), достаточно подробно рассматриваются разнообразные мнения российских и западных ученых по данному вопросу (с. 469–470).

<sup>37</sup> При этом различные оговорки, используемые С.С. Савоскулом для смягчения своей позиции, все эти "в той или иной мере", "в известной мере", "невольнo"; слова о том, что мои прегрешения "простительны", по-человечески понятны и т. п., не меняют общей негативной тональности в оценке моей работы.

<sup>38</sup> На мой взгляд, этими исследованиями было обозначено и с той или мной глубиной изучено большинство проблем, вставших перед русскими в странах нового российского зарубежья на первом, наиболее драматичном для них периоде их жизни, наступившем после распада СССР".

<sup>39</sup> Именно потому я называю их "активными", вовсе не имея в виду лишь "успешных" и социально продвинувшихся русскоязычных, в особых симпатиях к которым упрекает меня С.С. Савоскул.

<sup>40</sup> Но если бы цели исследования были иными, изучить представителей таких групп с помощью интервью, "ревностным сторонником" которых, по словам С.С. Савоскула, я являюсь, было бы делом вполне простым, а совсем не "громоздким и трудоемким", как полагает мой оппонент (в очередной попытке принизить значимость качественной социологии, а также указать на мою "неудачу").

<sup>41</sup> Было задано четыре симметричных вопроса: "Что хорошего (плохого) сделали русские для киргизов (киргизы для русских?)".

<sup>42</sup> См. выше мои комментарии к замечаниям В. Мукомеля.

<sup>43</sup> Замечу, что кроме работ Г. Витковской и А. Грозина, в книге приведено достаточно других примеров "миграционистского подхода" (именно исследователей, а не журналистов), но не с

таким подробным "разбором полетов". И не всегда шла речь о публикациях – ученые выступали в прессе, на конференциях, семинарах; участвовали в экспертизах и пр.

<sup>44</sup> В своем тексте С.С. Савоскул не один раз пишет о локальной (региональной) идентичности русских за пределами России как явления "весьма распространенном и общеизвестном". Однако в его главном труде – итоге многих лет работы, в главе, посвященной этнической идентичности "русских" Центральной Азии, о такой идентичности нет ни слова, а речь идет лишь о том, как и в чем проявляется их "высокий уровень этнического самосознания" (по моей терминологии, это "трансграничная", объединяющая – с Россией, идентичность).

<sup>45</sup> Тут не совсем понятно – разве в России одни русские живут? Или я "черными красками" показываю специально только русских?

### Литература

- Арутюнов 2000 – Арутюнов С.А. Рец. на кн.: "В движении добровольном и вынужденном. Постсоветские миграции в Евразии". М., 1999. 319 с. // Этнограф. обозрение (далее – ЭО). 2000. № 4. С. 146–151.
- Брубейкер 2000 – Брубейкер Р. "Диаспоры катаклизма" в Центральной и Восточной Европе и их отношения с родинами (на примере Веймарской Германии и постсоветской России) // Диаспоры. М., 2000. № 3. С. 6–32.
- Брусина 2001 – Брусина О.И. Славяне в Средней Азии. Этнические и социальные процессы. Конец XIX – конец XX в. М.: Восточная литература, 2001.
- ВМ 1997 – Вынужденные мигранты: интеграция и возвращение / Отв. ред. В.А. Тишков. М., 1997.
- Волков 2002 – Волков В. Русские в постсоветской Латвии сквозь призму лингвистической идентичности // Диаспоры. М., 2002. № 2. С. 64–82.
- Волос 2000 – Волос А. Хуррамабад. М., 2000. С. 388–425.
- Ганеева 2006 – Ганеева Э. Восприятие этничности русскими, корейцами и узбеками Узбекистана (этнопсихологический анализ) // Диаспоры. 2006. № 2. С. 62–95.
- Григоричев 2006 – Григоричев К. Русскоязычное население Центрального Казахстана: возрастные особенности формирования идентичности и жизненных стратегий // Диаспоры. 2006. № 2. С. 154–172.
- Дятлов 2000 – Дятлов В.И. Современные торговые меньшинства: фактор стабильности или конфликта? (Китайцы и кавказцы в Иркутске). М., 2000.
- Дятлов 2004 – Дятлов В.И. Диаспора: экспансия термина в общественную практику современной России // Диаспоры. 2004. № 3. С. 126–138.
- Еленевская, Фиалкова 2005 – Еленевская М., Фиалкова Л. Русская улица в еврейской стране. Исследование фольклора эмигрантов 1990-х в Израиле. М., 2005.
- Комарова 2002 – Комарова Г.А. Русский Бостон. М.: ИЭА РАН, 2002.
- Коротеева 1999 – Коротеева В. Теории национализма в зарубежных социальных науках. М., 1999.
- Космарская 1999 – Космарская Н.П. Трудности адаптации переселенцев в сельской России: попытка концептуализации // В движении добровольном и вынужденном. Постсоветские миграции в Евразии / Под ред. А.Р. Вяткина, Н.П. Космарской и С.А. Панарины. М., 1999. С. 215–239.
- Космарская 2006 – Космарская Н.П. "Дети империи" в постсоветской Центральной Азии: адаптивные практики и ментальные сдвиги (русские в Киргизии, 1992–2002). М.: Наталис, 2006.
- КЦ – Кыргызстан в цифрах. Бишкек, 2000.
- Левин 2001 – Левин З.И. Менталитет диаспоры (системный и социокультурный анализ). М., 2001.
- Лебедева 1997 – Лебедева Н.М. Новая русская диаспора. Социально-психологический анализ. Изд. 2-е. М.: ИЭА РАН, 1997.
- Малахов 2004 – Малахов В.С. Этнизация феномена миграции в публичном дискурсе и институтах: случай России и Германии // Миграция и национальное государство / Под ред. Т. Барулиной и О. Карпенко. СПб., 2004. С. 85–103.
- Мальгин 2007 – Мальгин А. Доведет ли язык до Киева? Проблема русского языка в современной Украине // Диаспоры. 2007. № 1–2. С. 29–51.
- МНД 1996 – Миграции и новые диаспоры в постсоветских государствах / Отв. ред. В.А. Тишков. М., 1996.

- НСД 1996 – Новые славянские диаспоры / Отв. ред. М.Ю. Мартынова. М., 1996.
- Обсуждение 2005 – Обсуждение книги В.А. Тишкова "Реквием по этносу" (материалы методологического семинара Института этнологии и антропологии РАН // ЭО. 2005. № 3. С. 109–131.
- Осинов 2004 – Осинов А.Г. Краснодарский край как витрина российской национальной политики // Диаспоры. 2004. № 4. С. 6–37.
- Остапенко, Субботина 1998 – Остапенко Л.В., Субботина И.А. Русские в Молдавии: миграция или адаптация? / Отв. ред. М.Н. Губогло. М., 1998.
- Полецук 2005 – Полецук В.В. Латентный этнический конфликт в Эстонии (на примере ситуации в Таллине) // Этнополитика. 2005. № 3–4. С. 22–34.
- Полецук 2006 – Полецук В.В. О миграционном потенциале нетитульного населения // Бюллетень Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. М.: ИЭА РАН. 2006. № 69. Сентябрь–октябрь. С. 114–117.
- РЗ 1994 – Русские в ближнем зарубежье / Отв. ред. В.И.Козлов, Е.А. Шервуд. М., 1994.
- РНЗ-1 – Русские в новом зарубежье: итоги этносоциологического исследования в цифрах / Отв. ред. С.С. Савоскул. М., 1996.
- РНЗ-2 – Русские в новом зарубежье: миграционная ситуация, переселение и адаптация в России / Отв. ред. С.С. Савоскул. М., 1997.
- РНЗ-3 – Русские в новом зарубежье: программа этносоциологических исследований / Отв. ред. С.С. Савоскул. М.: ИЭА РАН, 1994.
- Савин 2006 – Савин И.С. Этническая идентификация городского населения Республики Казахстан: 1992–2005 (на примере казахов и русских Южно-Казахстанской области). Автореф. дис. ... к.и.н. М., 2006.
- Савоскул 1992 – Савоскул С.С. Социально-этнические проблемы русского народа // Этнополитический вестник России (Этнополис). 1992. № 1.
- Савоскул 1997 – Савоскул С.С. Основные черты миграции русских в постсоветском пространстве // Русские в новом зарубежье: миграционная ситуация, переселение и адаптация в России / Отв. ред. С.С. Савоскул. М., 1997.
- Савоскул 1999 – Савоскул С.С. Этнические аспекты постсоветской гражданской идентичности // Общественные науки и современность. 1999. № 5.
- Савоскул 2001 – Савоскул С.С. Русские нового зарубежья. Выбор судьбы. М.: Наука, 2001.
- Савоскул 2003 – Савоскул С.С. Суверенизация Украины: этническая идентичность украинского и русского населения // Социология: теория, методы, маркетинг. (Киев). 2003. № 4.
- Савоскул 2004 – Савоскул С.С. Динамика этнической идентичности населения постсоветской Украины // Междисциплинарные исследования в контексте социально-культурной антропологии: Сб. в честь Юрика Вартановича Арутюняна / Отв. ред. С.С. Савоскул. М.: Наука, 2004.
- Савоскул 2005 – Савоскул С.С. Локальная идентичность современных россиян (опыт изучения на примере Переславля-Залесского) // ЭО. 2005. № 3. С. 58–73.
- Субботина 1998 – Субботина И.А. Стратегия поведения русской молодежи в странах нового зарубежья: Молдавия. М.: ИЭА РАН, 1998.
- Тишков 2003 – Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии. М., 2003.
- Тишков 2006 – Тишков В.А. Кризис понимания России. М.; Воронеж, 2006.
- Эпштейн 2006 – Эпштейн Д. Империя: взгляд снизу // Отечественные записки. М., 2006. № 4 (<http://www.strana-oz.ru/?numid=31&article=1327>)
- Тишков 2005 – Тишков В.А. О культурном многообразии // ЭО. 2005. № 1. С. 3–22.
- Филиппова 1997 – Филиппова Е.И. Роль культурных различий в процессе адаптации русских переселенцев в России // Идентичность и конфликт в постсоветских государствах / Под ред. М.Б. Олкотт, В. Тишкова и А. Малашенко. М., 1997. С. 134–150.
- Barrington 1999 – Barrington L. Rethinking the Triadic Nexus: External National Homelands, International Organizations and Ethnic Relations in the Former Soviet Union. A paper prepared for the 1999 annual convention of the Association for the Study of Nationalities. N.Y., April 15–17, 1999.
- Brubaker 1996 – Brubaker R. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Brubaker 2004 – Brubaker R. Ethnicity Without Groups. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004.

- Brubaker et al.* 2006 – *Brubaker R., Feischmidt M., Fox J., Grancea L.* Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2006.
- Capo Zmegac* 2005 – *Capo Zmegac J.* Ethnically Privileged Migrants in Their New Homeland // *Journal of Refugee Studies*. 2005. Vol. 18. № 2. P. 199–215.
- Doyle* 1986 – *Doyle M.* W. Empires. Ithaca & L.: Cornell Univ. Press, 1986.
- Habermas* 1995 – *Habermas J.* Citizenship and National Identity // *Theorizing Citizenship* / Ed. R. Beiner. Albany, NY: SUNY Press, 1995. P. 255–282.
- Khazanov* 2003 – *Khazanov A.M.* A State without a Nation? Russia After Empire // *The Nation-State in Question* / Eds. T.V. Paul, G. J. Ikenberry, J.A. Hall. Princeton: Princeton University Press, 2003. P. 79–105.
- Khazanov* 2006 – *Khazanov A.M.* Nations and Nationalism in Central Asia // *The SAGE Handbook of Nations and Nationalism* / Ed. G. Delanty and K. Kumar. L.: SAGE Publications, 2006. P. 450–460.
- Kolstoe* 1995 – *Kolstoe P.* Russians in the Former Soviet Republics. With a contribution by A. Edemsky. L.: Hurst & Company, 1995.
- Kolstø* 1996 – *Kolstø P.* The New Russian Diaspora – an Identity of Its Own? Possible Identity Trajectories for Russians in the Former Soviet Republics // *Ethnic and Racial Studies*. 1996. Vol. 19. № 3. P. 609–639.
- Laitin* 1998 – *Laitin D.D.* Identity in Formation. The Russian-Speaking Populations in the Near Abroad. Ithaca and L.: Cornell University Press, 1998.
- Pilkington* 1998 – *Pilkington H.* Migration, Displacement and Identity in Post-Soviet Russia. L.; N.Y.: Routledge, 1998.
- Reeves* 2006 – *Reeves M.* Schooling at Ak-Tatyr: A Shifting Moral Economy // *De Young A., Reeves M., Valyaeva G.* Surviving the Transition? Case Studies of Schools and Schooling in the Kyrgyz Republic Since Independence. Connecticut: Information Age Publishers, 2006.
- Schoeberlein-Engel* 1994 – *Schoeberlein-Engel J.* Identity in Central Asia: Construction and Contention in the Conceptions of "Ozbek", "Tajik", "Muslim", "Samarqandi" and Other Groups. Ph. D. dissertation, Harvard University, 1994.
- SE 2007 – Special Eurobarometer, European Commission. Discrimination in the European Union: Summary. January 2007.
- Wood* 2006 – *Wood T.* Nationalism Fatigue in Post-Soviet Central Asia? The Case-Study of Kyrgyzstan. Paper presented at panel EU5: "Kyrgyzstan Before and After the Tulips", Association for the Study of Nationalities World Convention, N.Y., March 25, 2006.
- Yack* 1998 – *Yack B.* The Myth of Civic Union // *Theorizing Nationalism* / Ed. R. Beiner. Albany, NY: SUNY Press, 1998. P. 103–118.

### **Special Section of the Issue: *Russian-Speakers in the "Near Abroad" Through the Eyes of Russian Academy: Achievements and New Agendas* (guest editor: N.P. Kosmarskaya)**

This special section comprises a discussion of Natalya Kosmarskaya's book, «"Children of the Empire" in Post-Soviet Central Asia: Mental Shifts and Practices of Adaptation (Russians in Kirghizia, 1992–2002)», Moscow: Natalis Press, 2006. Introductory notes by the guest-editor, which provide a conceptual and thematic basis for the discussion, are followed by reflection pieces of scholars from Russia, Uzbekistan, Ukraine, Estonia, Kazakhstan, USA, Great Britain, and Israel. In the final section, the guest editor responds to the criticisms and extends the debate by outlining potential new agendas for the study of post-Soviet minorities and diasporas. The scope of this special section is not limited to the so-called "Russian diasporas" in the NIS: the discussion moves on to more general (and highly contested) issues, including approaches to the study of ethnicity; the notion of the "nationalizing state" in its relation to former Soviet republics, and the impact of political turmoil on everyday identification.